
Дарвиновский Музей и Дарвинизм в дни Великой Отечественной Войны.

1941 — 1943.

Александр Федорович Котс

Приложение

Дарвиновский Музей и Дарвинизм в Дни Великой Отечественной Войны.

Этот последний очерк может показаться мало связанным с предшествующими. Но лишь на первый взгляд.

Оправдан он двояко, подтверждая актуальность Дарвинизма даже в самую трагическую, героическую пору жизни целого народа.

Не оно ли, именно учение Дарвина, вскрывает все бездонное невежество фашистских бредней, не оно ли помогает увязать явления живой природы и арену боя?

Каким образом учение Дарвина пыталось оправдать себя перенесенным в стены Госпиталя — пусть расскажут нижеследующие страницы, как они написаны были в дни нашей Великой обороны. Добрые 15 лет тому назад. Мы оставляем их, эти страницы, без малейших изменений, с сохранением «приподнятого» стиля, порожденного величием того незабываемого времени.

Отметим в заключение, что часть этого очерка была опубликована еще до окончания войны, переведенной на английский в Лондоне, и что отдельные страницы очерка уместно предложить вниманию и некоторым современным эпигонам как былых наших врагов, так — к сожалению, и былых наших союзников.

А.К.

Война. — ее кроваво-огненные признаки давно уже грозили нашей Родине, а пламенные языки местами уже жгли ее живое тело на гранитных подступах к твердыне Ленинграда и на рубежах нашего Дальнего Востока.

Смерть и пламя охватили страны Западной Европы, и в духовном смраде их поработителей замолкли для культуры мира Амстердам и Брюссель, Прага и Париж, еще немного... смолкли и Афины, и Варшава.

«Смолкнет ли Москва?» — Так спрашивали Лондон и Нью-Йорк, когда несметные дивизии фашистских полчищ ринулись на нашу Родину.

Она замолкла... только на мгновение молчанием гнева и решимости, чтобы тем пламеннее раздался ее призыв к защите высших ее ценностей: ее достоинства и чести, ее нравственной культуры.

И призыв этот услышан был от моря Белого до Черного, от Беломорья до Приморья.

И страна ответила. Она ответила защитой Ленинграда и Москвы и легендарной обороной героического Сталинграда.

И не только там, на опоенных кровью снеговых просторах придонских степей и знойного Поволжья, предкавказских круч, холмов Валдая, заполярной тундры и финляндских скал — сказала эта беспримерная героика.

Не менее, чем в грохоте орудий фронта, в порохе и крови героизм Родины сказался в боевом тылу.

Сказался он в немолчном рокоте станков заводов, направлявших сталь и порох боевому фронту.

Он сказался в тишине лабораторий, в творчестве военной техники, при изыскании новых средств защиты Родины.

Сказался он в безвестных подвигах и жертвах боевого тыла.

Но и там, и здесь, на фронте боя, как и в боевом тылу, решали и решат победу не одни только металлы и моторы, но стоящие за ними нравственные силы: жертвенная преданность родной стране.

Не захватившие так пламенно героев техники и ратных подвигов, эти призыва Родины могли ли не затронуть деятелей умственной культуры?

В это мнимо-мирное их царство безмятежной мысли разве не ворвался тот же смерч войны и вихрь разрушения?

Разве ураганам пороха, огня, свинца и стали не предшествовали ураганы отравляющего слова?

До того, как многотонные снаряды стали рваться над тремя материками, — разве мир не содрогался долгими годами от отравленных идей, от ядовитых мыслей?

И, как вражескому говору моторов и снарядов мы ответили на языке снарядов и моторов, — так и на идейные его снаряды надлежало отвечать при помощи «идейных залпов».

И не в этом ли содружество героев ратных подвигов и скромных рядовых ученых в дни великих испытаний и великих жертв великого народа?

Но ведь если так — то где, какое место выпадет в этой борьбе на долю и обязанность **Музеев**, как хранилищ вещных ценностей культуры, как глашатаев ее идейных ценностей?

Ответ давался постановкой самого вопроса: надлежало сохранить музейные сокровища, а отражаемые в них идеи — бросить на борьбу с врагом.

Именно так стоял вопрос перед «**Музеем Дарвина**»: спасти предметы, мобилизовать идеи.

Начинать, конечно, приходилось с первых. Тяжкий труд и скорбная задача: «Инволюция Музея Эволюции»!

Как в легендарных сагах древнего Востока, повествующих о прохождении видимого мира через состояния незримости, так предстояло сделать временно невидимым и наш Музей, — этот чудесный мир животных форм и красок, над которым мы трудились долгие полвека!

Свыше тысячи картин и зарисовок — плод труда и творчества плеяды замечательных художников — сошли со стен Музея и свернулись в безобразные тюки и свертки.

Тысячи посмертно сохраненных обликов зверей и птиц, — плод векового сбора и труда крупнейших препараторов России — оказались заключенными в ящиках для вывоза из стен Музея, или спущены в его подвальные хранилища.

Здесь, уплотнившись в обстановке «Ноева Ковчега», временно нашли себе приют бывшие обитатели полярной тундры и тайги, и тропиков: бок о бок уроженцы Африки и Андыра, Полинезии и Патагонии, Гвинеи и Гренландии.

Пылающие краски ибисов и попугаев, изумруды и рубины Райских птиц, смарагдовые одеяния Трогонов и колибри, диадемы, ожерелья и султаны, шлейфы-веера фазанов — все они укрылись в темных подземельях нашего Музея, притаившись под бетонными их сводами.

И все же, часть сокровищ приходилось предоставить своей участи, оставив их на месте, в выставочных залах.

Ни гигантские скульптуры вымерших зверей и птиц, ни чучела слонов (— по технике монтажа — лучшие в Европе! —) невозможно было ни укрыть, ни вывезти. А в отношении десятков менее объемистых, но все же грузных экспонатов приходилось ограничиться их удалением из верхних зал и размещением в нижних этажах Музея.

Вытянувшись в ряд, подобием «рассыпного строя», табуны оленей, зебр и зубров, стаи тигров, медведей и львов словно готовились для отражения незримого врага.

Не мало протестантов оказалось и среди «ученых».

Только часть нашей обширной уникальной серии портретных бюстов удалось запрятать в ящики. Другую часть, и в том числе монументальные бюсты выдающихся биологов Америки и Англии (Гольтона, Гексли, Уоллеса, Осборна, Марша, Копа, Иеркиса..) пришлось, во избежание их повреждения от детонаций, снять с их постаментов и составить в более надежном месте.

Здесь, тесной, дружной — в дни опасности — семьей, сгрудились гипсовые облики ученых, не считаясь ни с идеологией, ни с антипатиями их прижизненных прообразов: Копа и Марша, Вуйсмана и Эймера, Кювье и Сент-Иллера.

И, однако, наибольшие протесты против выселения и укрывания оказал сам **Дарвин**.

Да и то сказать! Гиганта мысли, воплощенного в громадной трехметровой статуе, нельзя было ни скрыть, ни вывезти из посвященного ему Музея.

Поневоле приходилось сохранить его на месте, продолжающим сидеть «в раздумье» над законами природы и над... беззакониями страны, родины Вейсмана и Геккеля, — идейных восприимчивых и искажителей его учения.

Также на месте приходилось сохранить прелестную скульптуру, группу, представляющую старого Ламарка с дочерьми, одной сидящей возле ног отца, другой — глядящей вдаль с пророческой и гневной фразой на устах: «Потомство, оно будет удивляться, оно отомстит за Вас!»

Да, эти чувства изумления и гнева неослабно и незримо провожали нас в этой работе нашей по спасению наших культурных ценностей и, в частности, в нашей заботе — охранить монументальный бюст **Вольфганга Гете**, возглавляющий одну из наших зал.

Гнетущая и скорбная ирония: спасение бюста Гете от его соотичей! Спасти скульптурный облик величайшего поэта и мыслителя Германии от эпигонов-выродков былой «Страны Поэтов и Мыслителей»!

Спасти от вражьих самолетов величавые черты поэта, некогда устами Фауста, возроптавшего от сознания, что

«Лишь дух парит, от тела отрешась —
Нельзя нам воспарить телесными крылами!»

Но прошло столетие. Духовное парение — заменилось материальным. Место **Гете** занял **Геринг**. И последствия этой замены на глазах у нас.

Из трех моментов приведенного двустишия фашизм уничтожил первое, «Парение духа», сохранил второе, «тело», и усвоил третье — «воспарение телесными крылами», посадив на них бездушные тела.

Готовиться к отпору, к отражению этих «телесных крыл», этих бездушных тел, несущих гибель всей культуре человечества — таков был лозунг, боевой девиз Москвы, а в частности и нашего Музея.

День за днем, с самого раннего утра до поздней ночи продолжалась эта оборонная работа.

Как и вся многомиллионная столица, так и скромный коллектив Музея жил в ту пору лишь одною волей и одною верой: волей к обороне и уверенностью за ее успех.

Казалось, никогда еще единство мыслей, чувств и воли не осознавалось так настороженно, как в те памятные дни: сердце и мысли нас, музейцев, были там, под сводами хранилищ наших уникальных ценностей, а зрение и слух — устремлены на небо в ожидании тех злобных сил, которые грозились погубить наши культурные сокровища.

Так проходили дни и ночи, и по мере придвигания фронта все тревожнее впивался глаз в ночную темь, и тем острее напрягалось ухо, силясь уловить в ночной тиши зловещие огни и рокот вражеских моторов.

Никогда еще сотрудники Музея Дарвина не видели себя придвинутыми так эмоционально.. к Астрономии!

«Пер Аспера ад Астрас» — «От суровых испытаний к звездам и надзвездной высоте!» — Это стоическое изречение приходилось нам — Увы! — перефразировать: «Пер Астрас ад Аспера!» — «От звезд звездного неба — к тяжким испытаниям!»

Эти последние на деле не заставили себя долго ждать.

Ровно месяц после начала войны Музеем, как и всей Москве, пришлось прожить «ночь боевого своего крещения», а пару дней спустя — успешно отразить прямой удар.

24-ое Июля. Ночь. Рев бесчисленных сирен. Воздушная тревога. Весь гигантский город словно встрепенулся, чтобы тотчас погрузиться в непроглядный мрак.

Но тем грознее и зловещее стал вид ночного неба.

Темное, бескрайное, оно казалось еще более бездонным, перерезанное сетью движущихся световых лучей. Одни — широкие и бледные, как лунные сияния, другие — узкие и яркие, как огненные стрелы, они реяли, метались и скользили по ночному небу, затмевая звезды.

То сходясь, то разбегаясь, догоняя и переплетаясь в жуткой и безмолвной пляске, эти световые пальцы, то вытягиваясь, то сжимаясь, силились нащупать в небесах незримого врага, словно желая отдалить, отгородить, отрезать от земли этот враждебный ей небесный свод.

Недолго длилось это жуткое безмолвие. Еще немного.. и безмолвная дотоле световая пляска обрела достойный аккомпанемент.

Вот грянул в отдалении одинокий выстрел, там — другой и третий, словно торопя друг друга.. Там — совсем неподалеку застрочил чеканно пулемет и, покрывая все, колебля воздух, сотрясая рамы, гулко раздались детонации разрывов. Чередуясь и сливаясь с рокотом зениток, заревели, наконец, тяжелые осадные орудия.

Враг над Москвой! И, как обычно, появляется он с Запада и не минует «Сен-Жерменского» ее предместья.

И на долю нашего района падала безрадостная роль встречать непрощенных гостей.

Первые вопли воющей сирены, а сотрудники Музея на своих постах. И всего прежде «боевая Тройка» во главе с орденоносцем препаратором Ф.Е. **Федуловым**, на боевом посту, на крыше здания, готовясь встретить зажигательные бомбы.

Ознакомиться с одной из них Музеем нашему пришлось при не совсем обычных обстоятельствах.

Дежуря на своем посту, на чердаке, означенный сотрудник вслушивался в жуткую симфонию ночного боя: визга бомб, стрельбы зениток, треска пулеметов и падения свинцового дождя осколков боевых снарядов.

Зорко всматриваясь сквозь чердачный люк на боевое небо, озаренное далекими пожарами, следил он за движением вражских самолетов, воровски, неслышно, выключив моторы, проплывавших над гигантским городом и зданием Музея.

Там — внизу, под ним, в «музейных катакомбах» плод пятидесятилетнего труда и творчества, сокровища Музея, невозстановимые нигде и никогда и никакими средствами...

Там — наверху — в этих зловещих точках вражских самолетов, еле видимых на фоне неба, — еще меньшие, совсем невидимые снизу точки, начиненные горючей смесью злобы и термита.

Мановение злой руки — движение рычага, и эта жестяная «точка», с визгом устремленная на землю, может в несколько секунд взорвать итоги полувековых трудов, источник радости миллионов ищущих умов, отзывчивых сердец.

Движение рычага секундой раньше, или позже, дуновение ветра, чуть сильнее или тише, предрешат исход падения снаряда, жизнь или смерть Музея, а тем самым и его создателей.

Слепому хаосу случайностей и злобы наш Музей мог противопоставить лишь одно: любовь и преданность сотрудников Музея к их идейному созданию.

Вдруг нашему сотруднику почудилось, что где-то очень близко с визгом пролетел снаряд. Пронесся он вне стен Музея, не задев ни крыши, ни чердачных помещений.

Зная, что «по правилам» удары зажигательными бомбами наносятся лишь «сверху», через пробивание крыши, можно было думать, что опасность миновала: очевидно, бомба пронеслась по улице и мирно догорает на ее асфальте.

Тем не менее, охваченный тревогой наш сотрудник бросился осматривать ближайший к чердаку этаж: там, в третьем этаже все было тихо и спокойно.

Бегом устремляется он в нижний зал, минуя средний, но и там, все мирно и спокойно; остается осмотреть второй этаж.

Бросок по лестнице, рывок за двери и ..перед глазами жуткая картина.

Весь громадный зал затянут едким беловатым дымом. Охватив тяжелую матерчатую штору одного окна, бурно и ярко полыхало пламя, а внизу, застрявши в раме шторного затвора, искрилась, шипела, извергая огненные брызги далеко вокруг себя виновница пожара: зажигательная бомба, рикошетом от соседней крыши наискось скользнувшая в окно Музея через улицу и, ущемленная широкой шторной рамой, механически удержанная от полета внутрь залы.

Броситься к окну, сорвать пылающий тяжелый занавес, засыпать и залить злобную непрошенную гостью, вышвырнуть ее обратно — было делом нескольких секунд.

В этой спасательной работе, в довершении которой принял энергичное участие и подоспевший сын директора, подросток-мальчик, Рудик **Котс**, — существенную роль сыграла зоология: кабанья голова, случайно оказавшаяся близ окна на первой «линии огня» и механически принявшая его ближайшие удары.

Тщетно поливаемая огненными брызгами щетина чучела кабаньей головы лишь тлела и чадила, но не зажигалась, не давала пищи для распространения огня.

Эмблема наступательного Германизма со времен тевтонских «рыцарей» кабанья голова на этот раз сама противодействовала злобным замыслам своих «идейных покровителей»!

А дальше что?

Все то же состояние борьбы.

Сменялись дни, сравнительно спокойные.

Сменялись ночи, полные тревоги: вой сирены с наступлением темноты и временный «отбой» при первых знаках утренней зари.

Как в сказках Андерсена, злые духи ночи исчезали с занимающимся днем, так и гудение вражеских моторов над Москвой бывало слышимо лишь под покровом ночи.

И, конечно, ни один народ солнце-поклонников, ни Ассирийцы, ни Египтяне, ни подданные Монтесумы, не приветствовал так восторженно и благодарно Солнце, как встречали его мы — люди двадцатого столетия...

«Светает!» радостно-уверенно шептали люди на сторожевых постах, после бессонной ночи, зная, что за долго до зари темные вражьи силы улетят на запад.

И мы знали, почему? Мы знали, что не под силу им тягаться с мастерством и мужеством наших советских летчиков!

Вот почему так радостно мы вслушивались каждый раз в моторный рокот утреннего неба, зная, что то могут быть только **советские аэропланы**. «Наши! Наши!» говорили мы, уверенные, что еще немного.. и послышится сигнал «Отбой!» и диктор через Радио, своим солидным, сочным баритоном возвестит сакральные слова: «Отбой! Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!»

«Отбой! Отбой!» — передавалось облегченно-радостно по этажам Музея, и под звук победного гудения наших родных моторов расходились мы, чтобы забыться освежающим коротким сном перед началом трудового дня и новой трудовой тревожной ночи.

А потом? А дальше? А позднее?

А позднее появился новый благодетельный союзник, именуемый... привычкой. Пусть условной ценности, но все же помощь этого союзника являлась благотворной.

В той же мере, как все чаще раздавался вой сирен-все глуше и тупее отзывались ум и сердце.

И по мере притупления чувства жизнь Музея стала постепенно пробиваться к новым руслам, к новым колеям.

Что в том, что в нескольких шагах от здания Музея полновесная фугаска превратила десятиэтажный дом в гигантский кратер.. В сводчатых подвальных помещениях Музея можно было наблюдать в «часы тревоги» сценки идиллического содержания.

Перед аудиторией детишек, собранных в «бомбоубежище» Музея, сын директора, подросток-мальчик, занят демонстрацией картинок аллоскопа или небольшого Кино-аппарата.

Там — на воле, рвутся бомбы и режут орудия, стрекочат пулеметы, сыпятся снаряды...

Здесь — в бомбоубежище Музея — ребятишки с упоением смотрят на экране сцены из «Давида Коперфильда», «Тома Сойера», «Песни о Гайавате» или «Детства Горького» и.. «Гулливера»..

А на утро, после ночи, проведенной в обстановке боевых тревог и интенсивного обстрела, дети служащих Музея и музейного двора с живейшим интересом развирается в обломках бомб и боевых снарядов, этого очередного «урожаю», собранного после окончания стрельбы на крышах здания и на дворе Музея.

Это ли не достижение!

Но не об этом же мечтали люди со времен Икара и до Гетевского Фауста или До-Буа-Реймона, сокрушавшегося на исходе третьей четверти минувшего столетия при мысли, что «едва ли человечеству будет когда либо дано летать!»

Но были и другие поводы для стоицизма населения Москвы: мы разумею укрепление воздушной обороны города.

Все чаще узнавали мы о вражеских самолетах, сбитых на ближайших подступах к столице. И все чаще исковерканные «Мессершмидты» выставлялись на позорище на площадях Москвы: там, размалеванные в трупные цвета и пятна эти жалкие остатки вражеских налетчиков способны были вызывать к себе лишь чувства омерзения и гнева.

И, однако, «бой за Красную Столицу» только начинался и до перелома было далеко.

Всецело ограничиться только охраной наших ценностей — казалось недостойным ни призвания Музея, ни переживаемой эпохи. И на очереди было — перейти, вернее, возвратиться к прерванной активной творческой работе.

Она мыслилась двояко: нужно было приступить к созданию новых, более созвучных времени музейных ценностей и бросить их на службу новым потребителям, на службу боевого тыла, а тем самым боевого фронта.

Первая задача: создание новых вещных форм отображения идей, имеющих быть брошенными на идейный фронт.

Легко подумать, что для выполнения этой работы — создания новых экспонатов — время было наименее созвучное.

«Враг у ворот Москвы?» — и в эту пору заниматься мирным творчеством музейной жизни... Никогда еще запросы Марса и Минервы не стояли в столь заведомом противоречии.

Все силы Родины были направлены на отражение врага, и этот враг стоял уже над сердцем Родины.. В такие дни, казалось, не до кисти и палитры!

Самая проблема «примирения Арен с музами» — в те дни едва ли ставилась в каком либо музейном учреждении Москвы...

Не то в стенах Музея, посвященных памяти великого британца, и не в первый раз за время их существования.

Двадцать лет тому назад, в разгар гражданских войн, когда Деникин, приближаясь к Туле, угрожал Москве, голодной и холодной, в мерзлых стенах Дарвиновского Музея создавались уникальные скульптуры: реставрации внешнего облика людей Палеолита и монументальные портреты-бюсты выдающихся мыслителей. — Ламарка, Гете, Дарвина и Гексли...

Что же удивительного, если и на этот раз, в дни величайших испытаний Родины, нашлись в музее Дарвина возможности и силы для активной творческой работы и ее увязки с интересами и нуждами войны ...

В Музее, правда, не было на этот раз испытанного давнего художника времен гражданских войн, талантливого скульптора-художника **Ватагина**, уехавшего до войны на юг и временно отрезанного от Москвы.

Но оставался на посту другой сотрудник, даровитый скульптор и анималист-художник **К.К. Флеров**, совмещавший знания зоолога-уверенность резца и кисти с тонким знанием животной формы, с интересами к истории культуры и с громадным опытом искусного полевого натуралиста.

Создатель ряда капитальных анималистических скульптур и свыше полусотни замечательных картин, сотрудник этот оказался призванным для разрешения очередной задачи: оживить экспонатуру Дарвиновского Музея серией картин, созвучных боевой эпохе.

И не трудно было очертить ближайшие тематики этих работ: настолько темы эти предreshались довоенными работами Музея самым содержанием его, как посвященного проблемам **Дарвинизма**.

Здесь достаточно напомнить **три** раздела этого последнего:

I. «Животные в условиях; Одомашнения».

II. «Они же при естественных условиях».

III.«Проблема Генезиса Человека».

Эти **три** раздела намечали **три** проблемы, обещавшие связать особенно наглядно, остро- действенно учение Дарвина и требования боевого времени. Сюда относятся:

1. «Роль Животных, как орудий боя»
2. «Явление Маскировки у Животных»
3. «Фашистская лже-теория Расизма»

Не трудно видеть, что увязка **Дарвинизма**, и **Войны** определялась, таким образом, в двоякой форме:

в направлении **военной техники** и
в области **воинствующей идеологии**.

Помочь победе над врагом на фронте стали и огня, как и на фронте боевых идей.

Осень 1941 года. Обложившись книгами и атласами, фото и эскизами Директор Дарвиновского Музея и художник Флеров приступили к разработке содержания и плана выполнения картин.

Согласно давней практике Музея все картины мыслились **сериально**, как взаимно связанные по идее и по внешней компоновке.

Каждая подтема и все вместе мыслились, как нечто органическое целое, в котором каждая отдельная картина занимает тематически и композиционно-зрительно определенное, заранее обдуманное место.

Не отдельные случайные **сюжеты**, но идейно-связанные **аргументы**, вот, что мы намеревались дать, пытаясь увязать науку о животных с интересами войны и обороной Родины.

Первая серия картин: **«Животные, как средства и орудия войны»**

В ее основе заключаются две мысли:

Историческая **смена** как самих животных, так и форм их применения, как орудий боя, и лишь **временная эффективность** большинства последних.

Оживляя в ярких образах и красочных картинах роль животных, как орудий боя, можно показать, как в свое время «боевые колесницы» уступили место «боевым слонам», и как последние опять сменились боевыми колесницами; — как место их позднее заняли тяжелые фаланги рыцарей, эти «живые танки», а последние в лице их поздних представителей, тяжелых кирассир — теперешними танками.

Еще разительнее смена роли «боевой собаки».

Из душителя и палача, приученного галлами и гуннами к приканчиванию раненых на поле битвы, а испанцами к растерзыванию беспомощных индейцев Мексики — собака на глазах у нас становится спасителем и другом раненых, помощником военных санитаров, помогая розыскам на поле брани раненых и доставлению им продовольствия и медикаментов.

И, наконец, центральное четвероногое оружие войны — незаменимый, верный боевой помощник — боевой, военный **конь**, в его различных расах, отражающих на себе этапы материальной и отчасти умственной культуры человечества...

На ряде ярких драматических моментов мировой истории, отображенных в красочных картинах, мы старались показать, как неизменно и жестоко мстило за себя пренебрежение к коннице.

И столь же благодарной оказалась и другая мысль, красной нитью проходящая через всю серию картин, та актуальная идея, что угрозы, вызывавшиеся тем или иным животным, как орудием и средством боя, были только временны и преходящи, и что нет таких «угроз», которые не встретили бы «контрмер».

Нашлись когда то средства обезвреживания «боевых слонов», а вид, и рев, и запах «боевых верблюдов», обусловивших когда то поражение лидийцев в битве с Киром и разгром южных славян на «Поле Косовом», — не помешали ни изгнанию мавров из Испании, ни поражению османов под стенами Вены.

Не так ли на глазах у нас? Казавшиеся столь недавно грозными немецкие броневики и танки потеряла свою мнимую непобедимость, натолкнувшись на действительные контрмеры нашей Красной Армии и всего прежде беспримерную ее отвагу...

Столь же эффективно удалось связать с реальными запросами войны главу о «Маскировке у Животных и ее значение для Военной Маскировки».

Давнее и хорошо известное явление «Покровительственной окраски» у животных, ее сходство с цветом окружающих ландшафтов, мы сопоставляем с маскировкой в практике войны и боевого опыта, как проявляется она на необъятном протяжении нашего фронта.

Облеченные зимою в белые халаты, летом — в тусклые, зеленовато-серые тона листья, невидимые до последнего момента, до решающей смертельной схватки, внезапно вырастают перед линией огня наши бойцы и мстители..

Незримо для врага, таясь в засаде, укрываясь за сугробом снега, мшистым валуном или в древесной заросли, советский снайпер посылает свои пули, направляемые верною рукой, равно невидимой на фоне снега и листвы, но одинаково могучей, опытной и гневной и в трескучий холод, и в палящий зной...

И, наконец, — последняя тематика: «Разоблачение фашистской лже-теории Расизма, мнимой разноценности людских народностей и рас». Опровержение этой «теории» на данных Био-психологии Приматов.

Опираясь на тридцатилетние оригинальные работы **Дарвиновского Музея** по исследованию душевной жизни человека и животных, удалось создать большую серию картин и красочных таблиц, имеющих раскрыть и пояснить заведомую несравнимость умственных способностей и «поведения» обезьян и человека.

Но тем самым была взорвана мнимая база лживых и безграмотных фашистских утверждений, будто «по моральному и умственному складу современные нам первобытные народы ближе к обезьянам, чем теперешние европейцы „высшей расы“.»

Таковы три главные тематики, работы, над которыми не прерывались в самые тяжелые, критические дни, когда враги стояли в нескольких десятках километров от Москвы, и Красная Столица уже грезилась фашистским полевым биноклем.

Сколько раз за эти грозные и героические дни Москвы художнику невольно приходилось прерывать свою работу, когда вой сирены вынуждал сменить палитру на противогаз, работу перед мольбертом — работами на крыше в ожидании бомбежек.

А зимой, когда во имя экономии электросвета или топлива весь персонал Музея должен был ютиться на пространстве нескольких квадратных метров, по соседству с клетками подопытных животных, и когда температура комнат падала до уровня, совсем не отвечавшего содержанию картин, рисующих животных и народы Африки, Бразилии и Индии, — «прорывы» света и тепла невольно приходилось возмещать «идейным» топливом и светом-силой творческого энтузиазма.

Свыше сотни красочных картин было написано за первые два года, небывалые в истории.

И тем уместнее спросить: Так ли оправданы эти работы в перерывах между детонациями бомб и воплями сирен?

Но ставить **так** вопрос — тождественно предположению, что ценные лишь в обстановке мира мысль ученого и кисть художника излишни и бездейственны в условиях войны.

Этому суждению решительно противоречит установка **Дарвиновского Музея**, наша глубочайшая уверенность, что **только те дела и учреждения оправданы в дни мирного труда, которым есть о чем сказать и есть, чем проявить себя в дни испытания и кризиса.**

Но как рабочие на боевых заводах неустанно совершенствовали свою работу, не довольствуясь лишь старыми, уже имевшимися образцами, так и скромные работники Музея почитали своим долгом применяться к новым требованиям на идейном фронте, создавая новые «заряды» для «идейных залпов».

К этой интенсивной творческой работе побуждало нас еще другое обстоятельство.

Не малое число картин — в части касавшейся теперешней войны — было задумано под свежим впечатлением ее героики, и отлагать их выполнение значило лишать себя всех выгод современника этих событий.

Хотя и призванные послужить орудием немедленной борьбы, «ответом на запросы дня» картины эти все же мыслились также и как скромный, но правдивый документ великой героической поры.

На очереди стоял второй вопрос: о «новом» потребителе, о «новой аудитории». Да и была ли она «новой»?

Отвечая на вопрос, достаточно спросить: куда девалась прежняя? Те тысячи, десятки, сотни тысяч юных жизней, что толпились в залах Дарвиновского музея, так пылливо-радостно глядели на сокровища музея, претворенные большой идеей.

Да, куда девались все эти бесчисленные юноши, так чутко откликавшиеся на живое слово?

Не они ли сами нам поведали об этом в тех бесчисленных приветных отзывах, которыми заполнен наш «Журнал Музейных Посетителей»?

И перелистывая эти книги, их потертые от времени страницы, вчитываясь в полудетский почерк этих милых строк, мы с умилением и гордостью находим в них ответы на вопрос.

Вот, взятый на удачу отзыв группы в 60 учащихся одной из наших школ. Приводим только заключительные строки:

«Мы скоро закончим Школу, многие из нас пойдут в Армию, в Вуз и просто в жизнь, но каждый тепло и с благодарностью будет вспоминать **Дарвиновский Музей** и его вдохновителя, создателя, замечательного профессора, который умеет пробудить молодые сердца — Александра Федоровича **Котс**.»

«27 Ноября 1941 г.»

«от учеников 169-ой Школы»

«Представитель В.Ушаков.»

Пусть в этих отзывах, в восторженности похвал, сказалась всего прежде ..молодость писавших, юное доверие и юный энтузиазм...

Но не в этом дело, и не в том, что наш Музей **смог** пробудить это доверие и этот энтузиазм.

Дело — в дате! Ведь писалось это за пять месяцев до грозной даты нашего вступления в войну.

Кровавым своим росчерком война внесла свои поправки в те доверчивые строки.

Она вычеркнула прозаическое «**просто**» Жизнь, заменив его на «**жертвенность**» и «**героизм**»; — зачеркнула слово «**многие**» и заменила его словом «**все**» и, наконец, — Увы! — для многих, собиравшихся «пойти» в живую жизнь, выражение «**пойти**» заставила сменить на скорбное «**покинуть**» ...

Да и в самом деле. Все те молодые жизни, что прошли когда то через залы нашего Музея, не они ли встали ныне на защиту Родины?

И среди них, той **четверти миллиона** молодых сердец, которых **лично я** стремился «пробудить» за четверть века моей массовой работы — сколько их засело за штурвалы самолетов?

И прислушиваясь к рокоту родных моторов, защищающих нашу столицу, мне порою чудится, что в той неустрашимости, что управляет ими, есть частица пафоса, когда то мною зароненного в отзывчивые молодые души.

И следя за серебристыми крылами наших истребителей, когда, летя с Востока, в свете солнца, они гонят от Москвы на Запад темные ей угрожающие силы, мне порой хотелось бросить благодарственный привет в лазурь небес моим бывлым ученикам, им, «воспарившим ввысь телесными крылами»!.

К ним, моим бывлым ученикам или их сверстникам, а ныне героическим защитникам нашей Великой Родины, к ним — понести посильно свои знания, переключив их в русло боевых задач!

Таков был лозунг. Но куда нести его?

Туда ли, где в пороховом дыму рвались гранаты и сердца?

Но там царила лишь одна наука: Стали и огня!

Там некому учиться бодрости у старого ученого и не туда нести его живее слово!

Его ждали ближе.

Здесь, в Москве, за стенами больниц и лазаретов, окруженные заботливым уходом и вниманием, лежат и бродят те, кто кровью закрепили свою преданность родной стране.

Туда, за скрытые пороги госпитальных стен звало, манило чувство долга.

Там, под сводами больничных корридоров и палат, надеялся я отыскать и часть моих бывших учеников, когда то радостных и безмятежных, а теперь прикованных к больничным койкам, или научающимся вновь ходить...

Как часто за истекшие 37 лет общения с молодой аудиторией эта последняя бывала для меня источником живейшей радости и новых сил.

Каждая лекция, каждый осмотр **Дарвиновского Музея**, были для меня идейным праздником, и это праздничное чувство я старался заронить и в моих слушателей, памятуя, что пути к познанию приходят через сердце, что, не полюбив науки, не познать ее!

И вот, мне снова предстояло это «праздничное знание» нести широким массам и однако, при условиях, совсем не радостным: больным и раненым.

Как то удастся приложить мой давний опыт к этой новой обстановке, под эгидой «Красной Пятилучевой Звезды» и «Красного Креста»?

Не сразу, а лишь в ходе опыта определился должный путь.

Давнему лектору, когда то молодым доцентом уже избалованному кафедрой, а позже, после Революции, отдавшему не мало сил обслуживанию казарм и лагерей, казалось всего проще возвратиться к этой давней и знакомой роли лектора красноармейских масс.

И столь же просто разрешались основные три вопроса: **Как** беседовать? **О чем?** и **Для чего?**

Как говорить? — **Только** наглядно, **только** ярко, убежденно-горячо!

«О чем?» — Только о том, что связано с этой великой, героической эпохой.

«Для чего?» — Для связи боевого фронта с тылом, орудийных залпов с залпами идей. **Только** — война, **только** — победа!

Таковы — исходные три установки. По техническим, и еще более «гигиеническим» причинам, приходилось отказаться от показа большинства объемных экспонатов: требования наглядности плохо мирились с антисептикой!

Невольно приходилось ограничиться показом более «стерильных» экспонатов в форме красочных таблиц, картин и диапозитивов.

Внешние, технические трудности взял на себя мой сын подросток-мальчик в роли демонстратора объектов и электротехника у фонаря.

И вот, предельно нагруженные нашим «музейным реквизитом», то пешком, то на машине, стали мы обслуживать ряд Лазаретов.

Помнится, одно из первых посещений относилось к Госпиталю специальных направлений: Ортопедии и Челюстных Ранений.

Тема Лекции: «Происхождение Человека в оттенении критики фашистской лже-теории Расизма» — мнимой равноценности людских народностей и рас.

Уютная, хотя и небольшая угловая аудитория.

Умелыми руками молодого моего помощника налажены экран и установка фонаря.

Привычными движениями я, стоя рядом, разбираю стекла диапозитивов:

Вот — прямой и тонкий абрис человеческого черепа — основа лицевого профиля с его типично-выступающим подбородком, свойственным лишь человеку!

Вот — двойной жемчужный ряд зубов — значение которого для механизма речи познается только по его утрате.

Вот — волнистая, стройно-извилистая линия изгибов позвоночника — условие «прямохождения» и гордой «человеческой» посадки головы.

Вот — изумительная «сводчатость» стопы — основа легкой и «пружинистой» походки..

Вот — «орудие орудий» — человеческая кисть, послушный орган человеческой культуры, будь то в повседневном обиходе жизни, в области технического гения или «в художественном творчестве Микель-Анжело, Торвальдсена и Паганини».

Так, планируя беседу, подбирал я доводы и факты, опираясь на бесспорнейшие факты анатомии, на Дарвина и Энгельса, на свой сорокалетний опыт лектора-анатома но позабыв — увы! — о том, **кому** на этот раз предназначалась лекция..

Забыл я о **составе аудитории!**

Лишь медленно и постепенно она стала собираться.

Да, лишь очень, очень медленно! С трудом лишь двигаясь на костылях, хромая, или волоча свои больные, забинтованные ноги, лишь с трудом поддерживая на весу больные руки и.. остатки рук.

На согнутых, согбенных спинах, искривленных шеях головы и лица, устремленные то вниз, то вбок и редко прямо, к собеседнику.

А там, где этот взгляд был устремлен на Вас — там самому хотелось опустить глаза!

Один из этих жутких образов навеки заронился в моей памяти.

Пониже глаз и книзу от остатков носа — красная зияющая яма, без намека на присутствие зубов и языка.. Без губ, без десен и без неба.. Лишь одна сплошная рана, уже затянувшаяся новой тканью, глянцевитой и мозолистой...

Не обрамленная губами эта красная зияющая впадина была не в силах удержать слюну, стекавшую сплошным потоком через рваные края отсутствующих губ и звуки, нечто среднее между урчанием и стонами отрывисто и глухо исходили из ее глубин.

Больной пытался, видимо, вступить со мной в беседу.

Преодолевая чувство ужаса и безграничной жалости, я напрягал все силы, чтобы разобрать хотя бы отдаленно смысл этих звуков и ..не мог.

Тщетно я вслушивался в эти нечленораздельные рывки, пытаюсь инсценировать хотя бы мнимое их понимание и.. не мог.

Мне оставалось ограничиться лишь теплым взглядом и любовно-дружеским пожатием руки.

Уже привыкшие и к виду своего товарища, и к безнадежности его попыток речи, прочие больные начали одергивать его к заметному неудовольствию несчастного...

При виде этого собрания безруких и безногих, унимающих безротого товарища, двойная мысль, жуткая, гнетущая охватывала душу.

Мысль о том, что излагать **в этих стенах** мою тематику обычным образом являлось бы кошунственным!

Какой жестокою иронией казалось мне подчеркивать перед собранием инвалидов специфические свойства человеческой походки, совершенство нашей кисти и стопы!

Беседовать перед лицом людей, лишившихся лица — о свойствах «человеческого профиля»!

Но и другое чувство, еще более гнетущее, захватывало ум и сердце.

Я смотрел на искаженные остатки прежнего лица стоявшего передо мной красноармейца, но его ужасное ранение и чувство горечи и сострадания сменилось возмущением и гневом.

И хотелось крикнуть кровью сердца через тысячи враждебных километров, не берлинским заправилам — тем доступны только доводы свинца и стали... а былым «ученым идеологам Германии»..

Хотелось крикнуть им: «Что сделали вы с Человеком, с человечеством, с Европой и ее культурой?»

Вся Европа в части, покоренной временно фашизмом, мне представилась на положении стоящего передо мною искаженного лица: одна зияющая рана, безобразная, беспомощная и безмолвная...

Хотелось думать, что искусству современной хирургии удалось пластически восстановить подобие лица у того раненого воина...

Но самый вид его навеки закрепился в моей памяти, как грозный символ и как обвинение той черной силы, что способна наносить подобные удары человеческому облику, культуре человечества...

Да, это первое мое знакомство с жертвами войны дало, вернее довершило должную зарядку гнева для последующих выступлений!

Помнится, как после окончания одной из моих лекций читанных позднее для громадной аудитории в одном из самых крупных лазаретов города, начальник госпиталя, пожилой военный врач, спросил меня в недоумении: «Но, позвольте, сколько же Вам лет?»

— «По паспорту мне 62 года?» — так ответил я — «по чувству гнева и по темпераменту — мне 26!»

И все же не одно лишь чувство гнева к зажигателям войны рождалось в госпитальной обстановке.

Еще чаще постоянное общение с бойцами вызывало настроения совсем другого рода.

Сказанное поясним примером.

Нам дают машину: ехать за город в один из дальних лазаретов в направлении фронта.

Ввиду дальности пути берем только фонарь и диапозитивы.

Едем по окраине города. Поздняя осень. Первый год войны. Пересекая устья улиц, загорая их проезды, тянутся то там, то здесь заслоны баррикад. Столица «ощетинилась», готовая отстаивать каждую улицу и каждый дом.

Улица Горького. Как до войны, полна движения, но близость фронта наложила на нее печать суровой деловитости: гремят машины, пыхают мотоциклетки, но и мысли, и моторы все направлены на Запад: враг придвинулся к Можайску.

Мы выносимся на Ленинградское шоссе. Здесь еще больше чувствуется «Запад». Обгоняя бесконечные грузовики с военным грузом и войсками, мы сворачиваем влево, едем по Октябрьскому полю.

Обстановка — грозная и величавая: звуки зениток в отдалении, над головами жуткий рокот истребителей и беспокойная зловещая игра лучей прожекторов на потемневшем небе.

Еще пара километров и машин, круто повернув, остановилась у крыльца высокого и мрачного по виду здания.

Как то нас встретят обитатели этого сумрачного дома?

Как то оправдается наш выезд??

Но не долго были наши колебания. С первых же шагов мы убедились, что успех наш обеспечен, и что «гости» мы «желанные»..

Радужно встреченные политруком и другим начальством Госпиталя, мы прошли в большую, светлую, залитую огнями залу. Все скамейки сверху до низу заполнены бойцами, то в повязках, то уже без них. За

недостатком места многие теснились вдоль проходов, окружая кафедру. И тут же медицинский персонал: сиделки, сестры и не малое число врачей.

И надо всем собранием — невыразимо бодрый, радостный, какой то праздничный, я бы сказал «победный» дух, как будто на зло черным тучам, надвигавшимся с Запада.

По истине, необычайная картина! Это потонувшее в вечернем мраке поле, это темное снаружи здание, эта залитая светом зала, эта лекция по Дарвинизму в нескольких часах езды от фронта перед аудиторией его былых героев, готовящихся вновь к нему!

Едва ли нужно говорить, как живо, чутко и остро воспринималась лекция, как четко и немедленно подхватывалась каждая попутно брошенная шутка, каждая созвучная минуте мысль... Закончил я словами пламенного убеждения, что вопреки возможным временным заминкам в ходе и успешности наших военных действий «быть **не** может, чтобы мы не победили!»

И, когда, сопровождаемые громкими приветствиями аудитории, мы покидали Госпиталь, нам было ясно, что страну, способную в лице своих еще больных и неоправившихся воинов- защитников так полнокровно жить идейной жизнью в нескольких часах от фронта, что страну эту нельзя поставить «на колени», что страна эта — *непобедима*.

В радостном волнении возвращались мы домой по черному ночному полю.

Световые полосы-лучи прожекторов еще обильнее и ярче поливали небо, гул зениток еще чаще доносился с запада, а по Можайскому шоссе еще усиленное двигались ряды машин...

Но, как в старинном и любимом некогда романсе, та же жуть и темь, так незадолго перед тем способные навеять состояния тревоги, — вызывали в нас теперь совсем другие чувства: небо, если не «горело в звездах», то казалось нам горящим гневом героической борьбы, огнем грядущей, близко-ожидаемой победы.

— «Никогда еще ты, папа, не читал так хорошо, как именно сегодня!» — шепчет мне мой молодой помощник, когда оба мы, счастливые и радостные, возвращались с лекции.

Да, есть большая радость и большое счастье знать, что в дни великих испытаний Родины тебе дано хотя бы на мгновение слиться с пафосом ее защитников.

И все же эти выезды, эпизодические и случайные, не отвечали силам, времени и знаниям, которые мы рады были бы отдать этому делу. И на очереди было — вправить всю нашу работу в более широкое и плановое русло.

Предстояло обратиться к Наркомату Обороны в целях получения «направления» в ближайший крупный Госпиталь, могущий обеспечить планомерность и размах намеченных работ.

Прием у Комиссара Фрунзенского Военкомата.

Видная, монументальная фигура Полкового Комиссара — **тов. Жизнякова**.

Краткий рапорт старого профессора (— «Есть много неиспользованных идейных боевых патронов... Дайте возможность применить их с пользой для бойцов Вашего Госпиталя!» —) Тут же краткая, авторитетная и деловая резолюция:

— «Дать направление в крупнейший Госпиталь при **Академии Генштаба** имени **Фрунзе**.»

Поручив одной из своих служащих («общественнице» при Госпитале) лично проводить меня к Администрации последнего, **тов. Жизняков**, поддержкой моей просьбы оказал громадное содействие культурному обслуживанию десятков тысяч раненых бойцов.

В сопровождении моей любезной ментории (и, как то выяснилось: моей бывшей ученицы!) направляемся в гигантский Госпиталь, давно уже меня манивший широтой сулимых им возможностей в смысле развертывания моей работы.

Грандиозный дом-гигант извне ничем не выдавал диапазона и характера своей работы.

Но не то — внутри.

Оставив за собой двух стражей «госпитального порога» одного — с пером, другого — со штыком, вступили мы в этот особый, новый мир, живущий своей собственной жизнью и все же столь неотделимой от кипучей жизни города.

Беззвучный лифт Вас поднимает на один из средних этажей многоэтажного гиганта.

Первое, что Вас невольно поражает — это сочетание трех свойств: порядка, чистоты и тишины — свидетельства союза и содружества врача и воина.

Но эта тишина, эта приглушенность шагов и говора, воспринимается не отзвуками «уходящих» жизней, но как крепкий и здоровый сон, предшествующие пробуждению.

Здесь, в бесчисленных палатах, временно нашли приют, уход, лечение и ласку тысячи бойцов-защитников Москвы, и Южного и Западного фронта, чтобы по выздоровлении вернуться к ратным подвигам или на поле мирного труда.

Короткий деловой прием Начальником, более длительный у Политрука Госпиталя (тов. Васильева, А.Х.) и включение **Дарвиновского Музея** в число «шефов» Госпиталя обеспечено; почетное, но и ответственное звание!

Как то удастся нам на деле оправдать его?

На утро следующего дня — мы за работой.

Еще накануне перекинута была наша «аппаратура»: красочные серии таблиц, картин, рисунки, фотографии, фонарь и диапозитивы.

Но с чего начать?

Несоответствие между культурными запросами Гиганта — лазарета и количественно- скромным персоналом нашего Музея было вопиющее: там — тысячи сменяющихся «потребителей», здесь, за уходом в Армию, на фронт, всех более молодых сотрудников, всего лишь **три** работника, могущих посвятить себя обслуживанию бойцов: Директор, его верная помощница-жена (ученый мирового ранга), да единственный их сын-подросток...

Что могли мы предложить нашей гигантской аудитории?

Я сам — сороколетний опыт по обслуживанию масс.

Жена — тридцатилетний стаж ученого и лектора и в виде дополнения — свой скромный поэтический талант.

Наш мальчик — проходивший Кино-курсы, — свою страсть к этому «высшему из искусств» и полную готовность и умение помогать во всем, касавшемся обслуживанию бойцов, будь то работа с кино-аппаратом, фонарем или техническое оформление Выставок.

Все трое: и отец, и мать, и сын, объединялись общим чувством безграничной преданности Родине, желанием уплатить хотя бы самую ничтожную крупницу долга героическим ее защитникам, за время пребывания их в столице.

В какой мере удалось нам справиться с нашей задачей?

Отвечая на вопрос, попробуем наглядно ознакомиться с различными ее вариантами.

Ближайший и простерший тип работы: **Выставки** для массового их осмотра обитателями Госпиталя, главным образом «ходячими» больными.

Самое наличие в последнем светлой и просторной залы делало желательным устройство выставок такого рода.

Наиболее удачной оказалась Выставка, организованная нами к празднованию Двадцатипятилетия Великой Октябрьской Социалистической Революции в великолепной нижнем зале — вестибюле Госпиталя.

Под названием «**Животные и Волна в Историческом Обзоре**» мы сгруппировали часть картин работы Флерова, и вкратце уже упомянутых: Животные, как средства и орудия ведения войны с античной древности до наших дней, от боевых верблюдов и слонов до боевых собак и боевых коней.

Особый подотдел был посвящен истории Конницы со времени Сарматов, Ассирийцев, Скифов и Лидийцев, через всадников античной Греции и Македонии до римской, нумидийской, галльской конницы, отсюда к роли конников эпохи мавров и великого переселения народов, к коннице эпохи Рыцарства, английской Революции, к истории «Коня и Конников» в России, от эпохи Александра Невского и Дмитрия Донского до времен Пожарского и Минина и роли кавалерии в нашей Великой Отечественной Войне...

Ввиду удачного расположения выставочной залы, одновременно служащей для приема проходящих посетителей и местом отдыха «ходячих» раненых всех этажей — количество людей, пересмотревших Выставку за время пяти месяцев (Ноябрь-Март) определяется в десятках тысяч человек.

И все же, не смотря на поясняющий этикетаж картин, как и на устные даваемые объяснения — реальная доходчивость подобных выставок не поддается надлежащему учету вследствие текучести состава зрителей, его неоднородности и ограниченности времени осмотра...

Таковы причины, побудившие нас с самого начала обратить наше главнейшее внимание на работу более активного порядка, в частности на проведение занятия в госпитальных клубах.

Перед нами — небольшая, светлая, приветливая зала, предназначенная для «ходячих», выздоравливающих больных и раненых. «Комната Отдыха». Сюда из множества палат и корридоров сходятся их обитатели, кто двигаясь уже свободно, кто — на костылях, вторично, а порой и в третий раз (!) усваивая функции ноги ..

При входе в залу — первая задача лектора собрать вокруг себя ее скучающее население. А скучающие есть. Одни больные — правда, заняты игрою в шашки, а другие перелистыванием журналов или слушанием патефона, но значительное большинство сидит и бродит, видимо не зная, чем заполнить вынужденный свой досуг.

Случайный гость в этих уютных стенах, Вы берете на себя роль хозяина.

— «Товарищи!» — так обращаюсь я к скучающим бойцам. «Я вижу, многие из Вас не слишком заняты! Позвольте Вам представиться. Старый профессор из числа „не скучных“! Что, если я Вас позайму немного? Расскажу о чемнибудь занятном и полезном? Если Вы — не прочь — то приступаем к делу! Стульев здесь достаточно.. Расставим их вот так.. (Сын расставляет стулья полукругом) Милости прошу! Садитесь! Все места — нумерованные!»

Смех, улыбки.. Публика заинтригована. Оставлены журналы, замолкает патефон и даже дуэлянты шахматисты прерывают бой.

Проходит несколько минут и перед нами сомкнутая аудитория из нескольких десятков человек.

Еще немного и мы с сыном вносим наши скромные музейные аксессуары: серии таблиц, картин, рисунков, фото, ящички с коллекциями насекомых.

Тема лекции: «**Маскировка у Животных и Военная Маскировка**»

Принесенные картины расставляются вдоль стен, коробки и рисунки раздаются на руки. Я приступаю к лекции.

Я предлагаю совершить со мною «небольшое путешествие» от ледяных просторов Арктики через угрюмую тайгу к унылой степи и пустыни, чтобы убедиться, как животные различных стран покрашены под цвет их окружающих ландшафтов, применяясь то к сверкающему снегу тундры и тайги, то к зелени лесов, то к блеклой почве степи и пескам пустыни.

И подчеркиваю **три** закона маскировки, укрывания, деформации и копирования, — равно приложимые в животном мире и в военной практике, указываю, как эта последняя усваивала опыт первого и как недопу-

стимо всякое пренебрежение маскировкой в обстановке боя (это по выражению наших союзников: «тяжелая болезнь храбрости»)

Это — канва беседы. Но важнее форма речи: полная непринужденность, простота общения.

И все же эти лекции или беседы для «ходячих» раненых лишь мало отличаются по стилю и методике от тех, которые читаются обычно в клубах для здоровых обитателей казарм и лагерей.

Совсем иначе складывается работа с тяжело-больными или ранеными категории «Носилочных» или «Лежачих»

Их обслуживание производится в самих палатах, и оно то привлекало нас по преимуществу.

Понятно, почему. Сюда, именно к этой категории относятся «трудно-больные», наиболее нуждающиеся в живом и бодром слове, в развлекающей и «отвлекающей» беседе.

И еще одну особенность таких больных необходимо здесь отметить.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему»

Эти вступительные строки ко второму знаменитому роману Льва **Толстого** часто вспоминались мне при посещении палат с трудно-больными.

Каждая из них имела свой особый отпечаток и определялся он не только общим состоянием больных, но и наличием среди них особо-трудных пациентов. И хотя спасительная роль привычки очень скоро примиряла с ними прочих обитателей палаты, но для лектора эти особо трудные больные оставались в положении «скорбных фокусов», определявших стиль и продолжительность беседы.

Правило: «Равнение по слабым» — было нашим основным девизом. Лучше «недоговорить» для сильных, чем «заговорить» более слабых. Даже более того.

В отличие от «ходячих» и стоящих на пути выздоровления, могущих при желании оставить койку и палату, не дослушав лекции, — лежачие больные лишены этой возможности. И это их бессилие «уйти» от лектора и уклониться от беседы налагало на последнего особую ответственность.

Работая в палатах с тяжело-больными следовало помнить, что при неумелости подхода, неудачности беседы, Вы рисуете этой последней нанести урон их психике, а этим самым их физическому самочувствию.

Короче: Если для «ходячих» раненых успешность лекции **желательна**, то для лежачих, тяжело-больных эта успешность **обязательна**.

Отсюда основное требование: придавать беседам с тяжело-больными ту предельную занятность, увлекательность и задушевность, при которой недосказанное словом договаривает чувство.

А теперь пройдемся по палатам трудно-раненых с надеждой заронить в их обитателей крупинки радостного знания, и — что важнее — искры теплого участия, душевной бодрости а, где возможно, блестящие благоде-тельного юмора.

Вы входите в палату.

Перед Вами светлая больная комната, уставленная койками. На них — прикованные неподвижно тяжкими ранениями те, за счет которых сами Вы так бодро и легко вошли ...

Одни — видимо снят, укрывшись с головой, другие — в полудреме, третьи, лежа, или полусидя, глядя безучастно вверх или перед собою...

Ваш приход сначала остается незамеченным: привыкшие к визитам докторов больные принимают Вас за одного из них.

Но это не смущает Вас. И первая задача Ваша: с первых слов наладить тот эмоциональный, нравственный контакт, то обоюдное доверие и понимание, без которых Ваше посещение бесцельно.

— «Здравствуйте!» приветливо и бодро — но не слишком громко — говорю я, стоя между колками, или прохаживаясь между ними, — «Здравствуйте, мои родные! Вот пришел к Вам старый (правда, лишь по паспорту!) профессор, чтобы вас немножечко занять и поразвлечь... А то ведь Вы наверное все время думаете только об одном и мысли ваши вас уже успели утомить... Позвольте мне перевести их на другие рельсы! И не бойтесь, Я не утомлю вас и температуры вашей не повышу! Лишь на полчаса вы уделите мне немножечко внимания! А если кто из вас предпочитает спать — то спите на здоровье! Сон для Вас сейчас всего нужнее!»

«Но сначала разрешите мне внести сюда мое вооружение: мои „бронетанки“ и „зенитки“, „пулеметы“ и „автоматы“.. Мы, ученые тоже воюем и не только языками но и осязательными фактами, которые Вы сами сможете взять в руки, чтобы убедиться, правы мы, или неправы!»

С помощью моего сына вносятся оставленная в коридоре демонстрационная аппаратура.

— «Вот, смотрите, — продолжаю я — здесь эти ящички, в них замечательные насекомые.. мы раздадим Вам на руки: это — мои ручные пулеметы! Вот — таблицы и картины на фанерах — мы расставим здесь, вдоль стен, а эти более высокие и узкие на стол.. Это — мои зенитные орудия и танки! Несколько тяжеловатые для переноски... На профессорской, а не механизированной тяге.. Устаревшая система, но работает, как Вы увидите, не плохо!»

— «А теперь, когда орудия расставлены, куда направить наш „огонь“? О чем мы будем с Вами говорить?»

«Я расскажу Вам про свою чудесную науку, про животных разных стран, как борются животные за свою жизнь, расскажу Вам об их разнообразных способах защиты или нападения..»

«Эта — „борьба за жизнь“ — есть закон природы для животных обитающих на воле, при естественных условиях..»

«Эту науку о животных мы попробуем связать с вопросами волны. Я покажу Вам, как преступны и как лживы утверждения фашистов, будто угнетение одних народностей другими может быть оправдано наукой, ссылкой на „борьбу за жизнь“ у животных.»

«Мы докажем, что грабительские войны одинаково противоречат и науке о природе, и законам человеческого общества.. Преступную фашистскую затею оправдания агрессивных войн мы помощью науки уничтожим также, как уничтожали Вы на фронте полчища врагов. Итак: „Огонь по неприятелю!“»

Нетрудно видеть, что беседы или лекции, построенные таким образом, преследуют двойную цель: внести психическое оживление в ряды больных, связать ученых с мастерами боевого опыта, залпы орудий с залпами идей... Это сближение обоих достигается и самой формой обращения.

Так, говоря об органах защиты у животных и о несравнимости их с техникой вооружений человека, я нередко делаю такую оговорку:

«Излагая факты Зоологии, науки о животных, — поясняю я — я чувствую себя хозяином и мастером своей науки.. Но, когда я буду проводить сравнения с воинским вооружением, я буду чувствовать себя совсем „не мастером“: я никогда не проходил рядов военной службы.»

«Очень может быть, что по вопросам о военной технике я допущу не точности. Очень прошу Вас в этих случаях меня поправить! Так мы наперед договоримся с Вами: Кое-что Вы от меня, надеюсь, переймете, но и сам я жду от Вас полезных указаний и поправок.»

В результате этого «приятельского соглашения» мои больные настораживаются, почувствовав себя активно вовлеченными в работу и к сотрудничеству в ней.

С особым удовольствием я вспоминаю об одном оригинальном «госпитальном диспуте», коснувшемся к тому же не военной, но зоологической тематики.

Показывая серию картин с изображением животных, в частности фигуры **бурого медведя** в обстановке зимней северной тайги, я слышу громкий и уверенный протест с одной из коек:

— «Ох, не так! Зимой медведи спят в берлогах, а не бродят по лесу!»

— «Конечно!» — соглашаюсь я — «Медведи за зиму впадают в спячку, забиваются в берлогу. Но бывает, что медведь, не нагулявши жиру, не ложится с наступлением зимы в берлогу.. Вот такого „шатуна“ — по выражению охотников — художник наш изобразил здесь на своей картине.»

— «Нет!» — продолжает возражать мой оппонент — «я — сам охотник-медвежатник, я промышленник с Урала.. у Медведя-шатуна — мех не такой!»

— «Но предположим» — говорю я (чувствуя, что оппозиция — серьезная..), «но предположим, что зима уже на исходе, что изображенный здесь медведь проснулся после зимней спячки, что медведь этот — весенний!»

— «Нет!» — упорствует мой оппонент: «Весною — снег — совсем другой!»

Прижатый натиском противника, я прибегаю к самому последнему отчаянному аргументу.

— «Дорогой товарищ!» — говорю я тоном примиряющего соглашения: — «Вы — правы. Снег картины — не весенний и медведь, на ней изображенный — не „Шатун“. Это — медведь берложный. Но вообразите, что медведя этого охотник незадолго до того вспугнул с берлоги, выстрелил но промахнулся и теперь медведь гуляет по лесу, чтобы немного погода опять залечь в берлогу.»

Озадаченный подобным аргументом мой противник, улыбаясь соглашается. Престиж науки сохранен, как и авторитет уральского бойца-охотника. В итоге этой небольшой «медвежьей стычки» население палаты еще более сроднилось с лектором.

Едва ли нужно говорить, что диспуты такого рода мыслимы лишь при известном уровне физического самочувствия больных, и что бывают случаи, когда самые бодрые слова не в силах захватить внимания тяжело-больного.

Этому последнему, — новоприбывшим с фронта или после операции — не до науки: слишком живы в памяти пороховые залпы, чтобы думать об «идейных», слишком жгучи поранения телесные, чтобы роптать против «идейных ран».

Перед лицом таких особо трудно-раненых и тяжело-больных научные идеи уступают место теплоту участию и дружескому слову.

И тем знаменательнее случаи, когда занятость, необычность зрительного впечатления успешно конкурирует с этим участием и с этой лаской.

Сколько раз нам приходилось быть свидетелями сцен такого рода.

Тщетно медсестра или сиделка всеми силами старается утешить, успокоить тяжело-больного, уложить его на койке по желанию: больной заметно нервничает, «все ему не так!»

И вот, чего не в силах сделать медсестра, или сиделка — выполняют мои бабочки, или кузнечики.

При виде бабочек или жучков, похожих на сучки и листья, наш больной невольно отвлекается от своего недуга, смотрит с удивлением на этих «притворяшек» и под «дымовой завесой» этих неожиданных помощников, сиделка незаметно ретируется, чтобы спешить на зов других больных.

Нередко в целях повышения активности моих больных, я прибегаю к незатейливым приемам пробуждения соперничества и соревнования.

— «Вот» — говорю я обитателям палаты, предъявляя одному из них коробку с насекомым, подражающим листу — «вот мы сейчас проверим остроту вашего зрения! Скажите, сколько бабочек или жучков находится в этой коробке?»

Испытуемый глядит «во все глаза», старается не уронить себя во мнении товарищей и то справляется с задачей, то лишь тщетно ищет, ошибается к невинному злорадству окружающих. Но основная цель достиг-

нута: внимание больных «переключилось», позабыты временно болезнь, неудобное лежание и вызываемое им томление души и тела.

Таким путем, то прибегая к длительным беседам, то к эпизодическим рассказам и показам, удается привлечь внимание даже тяжело-больных, и только там, где жизнь колеблется с гадательным исходом, все приемы и уловки лектора-музейца могут оказаться тщетными.

Весьма нередко Вам, читая лекции в палатах, надо быть готовым приостановить ее в любой момент и даже вовсе прекратить ее.

Причины этому бывают самые разнообразные.

Бывает, что среди занятий, в самый патетический момент, в палату входят санитарки и медсестры и уносят раненых для перевязок. Происходит временное замешательство, нить мыслей и внимание слушателей прервана. Чтобы заполнить этот вынужденный перерыв и сохранить контакт с палатой, прибегаешь к шутке.

«В древних сказках и легендах — говорю — часто повествуется о том, как рыцари, богатыри-герои похищали царских жен и дочерей. Но, как поступки уголовные, такие похищения совершались втихомолку, тайно, ночью, нелегальным образом...»

«Но до чего мы дожили! Почтенные по виду женщины и девы похищают на виду у всех богатырей-героев, умыкают их собственноручно, среди бела-дня и без малейшего сопротивления!?»

Смеются санитарки, улыбаются больные, в том числе и самый умыкаемый. Психический контакт со слушателями восстановлен.

Или: Ваша лекция пришлась на время посещения больных их родственниками и знакомыми: «**Приемные часы**» — и рядом с койками виднеются то здесь, то там фигуры посетительниц-жен, матерей, сестер или невест.

Боясь, как бы моя беседа не смутила навещаемых и их гостей, я в этих случаях спешу их успокоить.

— «Ни один профессор» — говорю, «и — как бы ни был он умен и знаменит, не в силах заменить вам то, что могут дать слова и взгляды ваших близких. В них, этих словах или улыбках, вы сейчас особенно нуждаетесь, и я не собираюсь вам мешать...»

«А посему, прошу ваших гостей и вас самих не обращать внимания на меня и мою лекцию! А вас — к которым припожаловали дорогие гости, я могу заверить, что соперничать с вашими милыми гостями и в особенности молодыми гостями — мои слоны и обезьяны не намерены!»

В итоге ситуация определилась и под тихий говор части обитателей палаты или их гостей, я продолжаю лекцию, обычно к удовольствию последних, постепенно присоединяющихся к ней.

Случается и так, что лекция придвинулась к обеденному времени. В палату вносятся тарелки и готовятся к раздаче порций.

Вынужденный преждевременно свернуть свою работу, я оправдываюсь следующим образом.

«Когда-то» — говорю я — «в старой капиталистической Москве, было не мало клубов, ставивших своей задачей, своим лозунгом „Обыгрывать и Объедаться!“. Но один из этих клубов превзошел все прочие, введя манеру — объедаться под сопровождение игры и декламации артистов и при том крупнейших мастеров театра.»

«Поздно ночью, после окончания спектаклей, в этот клуб съезжались богатеи-театралы, чтобы с помощью „высокого искусства“ поощрять свое пищеварение.»

«Помнится, как возмущался я всегда этой позорной смесью карт, искусства и вина.»

«С тем большей радостью готов я был бы ныне продолжать мою беседу с Вами и во время вашего обеда, — если бы ни противопоказания врачей, нас уверяющих, что при еде полезнее „не отвлекаться!“ . И о том же говорит старинная пословица: „Сначала есть — а потом лишь философствовать!“»

«А посему: Хорошего аппетита — а пофилософствуем мы с Вами .. **завтра!**»

Сколько раз, входя в палату со своим энтузиастичным молодым помощником, неся в руках несложный реквизит для моей лекции, мы заставляли сцену, лично мне всегда напоминавшую известную картину одного французского художника С.Эд. Детайль, Салон 1888 года). Называется картина «Сновидение» («Ле Рэв»)

Перед глазами зрителя — ночной бивак французской Армии Составленные «в козла» ружья. Свернутое знамя, сложенное на штыках, и распростертые фигуры спящих воинов. Завернутые в одеяла и плащи они покоятся в глубоком сне, после тревоги трудностей похода, накануне новых. Спят они и грезят о былых или грядущих битвах. И символизируя эти бивачные и боевые грезы, смутно, словно вырастая из теней и ключев предрасветного тумана, грозно и пророчески проносятся по небу боевые силуэты воинов и боевых знамен, свидетелей былых походов и побед.

Эта картина каждый раз вставала в моей памяти, когда, войдя в палату в «мертвый час», я заставал их обитателей в глубоком сне.

Плотно укрывшись в одеяла, длинными рядами распростертые на койках раненые спали и, быть может, тоже грезили о сценах боевых походов и боев.

Но «мертвый час» палаты близится к концу и в сонном царстве проявляется движение. То там, то здесь развертываются одеяла, раскрывая полусонные фигуры раненых.

Расставив вдоль стены на стульях принесенные таблицы, (тема лекции: «Происхождение человека и Разоблачение фашистского „Расизма“»), Ждем, когда проснется полностью вся наша аудитория.

Вот просыпается один, другой. Завидя нас и принесенные таблицы, они будят, тормозат своих соседей.. «Не будите!» — уговариваем мы. — «Ругать нас будут, как узнают, что мы их не разбудили!» — отвечают нам.

И вот, из царства сна проснувшиеся обитатели палаты сразу окунаются в проблемы дарвинизма, в критику фашистских бредней о сравнимости повадок обезьян и первобытных человеческих народностей и рас.

И, слыша о глупейших доводах фашистских шарлатанов, наша аудитория все больше оживляется, доступная опять для смеха и улыбки.

И, как Чеховская героиня силилась участием и шуткой пробудить к улыбке хмурое лицо больного, близкого ей человека, так и мы, работники науки в госпитальных стенах, своим высшим достижением считаем: вызвать вновь улыбку на лице больного, разучившегося улыбаться

Каждая палата тяжело-больных давала, как мы видели — свою картину и на свыше 500 палат, обслуженных за время одного лишь года, оживают сцены или образы, то скорбные, то светлые.

Вот — несколько картинок, выхваченных на удачу.

Я читаю и показываю диапозитивы. Вдруг, внезапно, через светлый круг экрана промелькнула тень безумно мчащегося человека. Топот ног и ловко и уверенно лавируя меж коек, пробегает рослая фигура одного больного, чтобы грохнуться и растянуться у дверей.

— «Припадочный!» — спокойно говорят его товарищи и просят продолжать. Пришедшие сестра и санитарки водворяют «беглеца» на место.

Я продолжаю лекцию. Сменяются картины на экране, а перед глазами лектора все тот же образ этого «сбежавшего больного» и вопрос: «Оправится ли он?»

Или, другой и столь же маловажный с виду эпизод.

Я приступаю к лекции в палате и при первых же словах обычного вступления в беседу замечаю, что один из моих слушателей, пожилой боец, пытается что то сказать.

Как и обычно в этих случаях, я прерываю лекцию и, наклоняясь, спрашиваю: «Все ли ясно?»

— «Каково!» — недоуменно восклицает раненый — «Профессор! И так просто, так понятно говорит со всеми нами!»

Улыбаясь, продолжаю лекцию. Увы! едва проходит несколько минут и, прерывая мою речь, на всю палату раздаётся та же недоумевающая реплика: «Нет, вы подумайте! Старый профессор и такой простой, так запросто со всеми нами!»

Тщетно селятся соседние больные успокоить своего товарища и просят не мешать беседе. До конца ее мой неумеренный ценитель остается при своем недоумении, твердя перед собою:

— «Никогда не думал, что такие есть профессора!»

С двойственным чувством покидал я в этот раз палату.

Было мне и радостно, и грустно.

Радостно — что удалось так просто и легко самое трудное, что существует в жизни: изменить чужое мнение с худшего на лучшее...

Но было грустно от сознания, что одно лишь проявление простого, чуткого и человеческого отношения могло так поразить сознательного пожилого человека!

И невольно думалось: Что нужно было пережить, чтобы первейшая обязанность всех людей — быть простыми и доступными воспринималась, как «психическая радостная травма»!

И, как будто отвечая на вопрос, звучит другая реплика однажды вырвавшаяся у одного больного.

Приступая к лекции по «Маскировке у Животных» я перед показом красочных картин, рисующих животных разных стран, нередко обращаюсь к аудитории с такою фразой: «А теперь прошу Вас позабыть на время, где вы были и находитесь и предпринять со мною в мыслях небольшое путешествие и убедиться, как животные различных зон покрашены под цвет их окружающих предметов.»

Видя, что один из слушателей что-то шепчет про себя, и, полагая, что меня хотят спросить, я наклоняюсь к койке и до слуха моего доносятся слова: «То, что я видел — не забудешь! С этим я умру!»

Передо мной — полузакутанная одеялом рослая фигура молодого командира. Гипс повязки со зловеще проступающими пятнами... Сухое, бледное лицо, холодный взгляд и губы сжатые и словно против воли еще раз процеживают роковую реплику: «Это — не забывается!»

Да, это не забудется, как сохранятся в памяти у пишущего эти строки и другие образы и реплики, как и образ этого раненого командира.

Вот я вхожу в палату и оглядываю койки. Первые прогнозы — малоутешительны. Больным, как будто, только до себя.

Здесь — раненый с подвешенной ногой, расправленной в системе металлических тяжей и прутьев... Там — живые торсы, заживо зашитые в каркасы гипса с нанесенными на них отметками о времени их наложения.. и было жутко видеть эти синие чернильные пометки на поверхности живых людей... Там — еще более суровый облик : под сплошную марлевою маской с узкими прорезами для носа, рта и глаз сплошь забинтованная голова, а там, у входа, группа медработниц занята переливанием раствора в обескровленное тела одного из раненых.

Как будто мы на этот раз попали «не по адресу»: здесь — безраздельно царство Эскулапа.

Но, узнав, в чем дело, убедившись, что за белыми халатами на этот раз скрывается не зонды и ланцеты, а рассказы и картинки, обитатели палаты просят начинать...

Читаешь, а умом и сердцем тянешься невольно к койке, над которой группа медсестер склонилась с аппаратом для переливания крови.. И ничтожной кажется твоя работа по сравнению с той, что так беззвучно производится там, у дверей, над обессиленным, бескровным телом...

Но «Живой — о живом думает!». И часто именно в таких палатах, месте спора Харона и Эскулапа, удавалось пробуждать влечение к музам и Минерве...

Помнится, как среди этих тяжело-больных мне встретился впервые и один из моих давних молодых учеников.

— «А я ведь был у Вас, в Музее!» — шепчет мне, стараясь улыбнуться, молодой больной с ногой, подвешанной на сложном такелаже водруженном над его кроватью... — «Я ведь был у Вас, когда учился в Школе... были мы всем классом, и Вы сами нас водили по Музею... Помню ваши объяснения... Хорошо было...»

Такие встречи с бывшими учениками наблюдались всего чаще при обслуживании палат командного состава, именно поскольку главный контингент моих учеников были учащиеся IX-ых классов, ставшие по поступлению в Армию на положение командиров.

Помнится, как в небольшой палате (319!) — отведенной командирам (в том числе двум полковым..) мною прочитан был обширный цикл лекций, охвативший целый ряд вопросов Дарвинизма:

Здесь достаточно отметить следующие разделы:

«Основные положения учения Дарвина» — «К истории научного мировоззрения.» — «Путешествие Дарвина на Бигле» — «Власть человека над Природой» — «Животные и Война в Историческом обзоре» — «К Истории Боевого Коня» — «Органы Защиты и Нападения у Животных и Вооружения Человека» — «Борьба за жизнь у животных и человеческие Войны» (в чем их принципиальное различие?) — «О скачках в Природе и в Истории Человеческого Общества» — «Маскировка у Животных и Военная Маскировка» — «Что нужно знать Разведчику о поведении диких животных в прифронтовой полосе?» — «О Происхождении Человека» — «Разоблачение фашистской лже-теории расизма».

Сходным образом читались лекции для командиров и другого Госпиталю (46-23), подшефного Музею Дарвина.

С особым интересом и вниманием относились мои слушатели-командиры к лекциям, касавшимся истории науки, в частности «Предшественников Дарвина».

Именно эту тему удавалось проработать особенно наглядно, пользуясь обширной серией оригинальных красочных картин, рисующих отдельные моменты творчества и жизни гениального ученого, и серией фотопортретов, посвященных выдающимся его соратникам: от **Гете** и **Ламарка** через **Спенсера** и **Гексли** и до наших дней..

Живому изложению этой тематики содействовали и мои повторные и длительные посещения Англии и личное знакомство с рядом выдающихся ее ученых, в частности с профессором Джулианом **Гексли** (— внуком знаменитого сподвижника и друга Дарвина, **Томаса Гексли**..), выдающимся биологом, блестящим популяризатором и давним другом нашего Советского Союза, посетившим нас задолго до того, как героизмом крови наша Родина завоевала себе общее признание культурных стран.

И слушая о **Дарвине**, о **Спенсере**, о **Гексли** аудитория моя знакомилась с одной из самых замечательных страниц истории культуры Англии — нашей теперешней союзницы на поле брани.

Но отстаивать содружество «Меча и Мысли» двух великих стран было особенно уместно **Дарвиновскому Музею**, посвященному великому «Британцу» и при том задолго до того, как обе нации объединились ныне на полях сражения, овеянных победами в песках Сахары и в сугробах снега героического **Сталинграда**...

И, конечно, в этом смысле сотни лекций и бесед, прочитанных и проведенных перед тысячами раненых советских воинов, являлись своевременным посильным вкладом Дарвиновского Музея в дело укрепления дружбы двух народов, от которых — как и от другого нашего великого союзника, Родины Линкольна, — зависеть будут всего больше судьбы будущей культуры мира...

И, однако, как ни актуально оказалось имя величайшего английского биолога и посвященного ему Музея в роли выразителя идейной связи нашей Родины с народами англо-саксонских стран, но подлинные стимулы работы **Дарвиновского Музея** по обслуживанию раненых определялись всего прежде интересами последних.

И припоминая тысячи больных и раненых, прошедших перед нашими глазами в госпитальных стенах, мысль невольно замирает перед доводами сердца.

Более того. Имея дело с очень тяжело больными, мы поступим правильнее, отказавшись от научных лекций: краткая беседа, проверенная в порядке дружеского разговора, будет более оправдана.

И в ту же форму дружеской беседы отливались мои лекции при поселении палат в дни календарных праздников и накануне их, когда самая праздничное настраивала лектора на соответствующий лад.

В такие дни в «День Красной Армии» или под Новый Год, входя в палаты я обычно тороплюсь предупредить, что на сегодня я на место лекции собираюсь дать нечто другое, более созвучное общему праздничному настроению.

Ярко и неизгладимо на всю жизнь сохранились в моей памяти картины Госпиталя накануне Новогодних празднеств и в ближайшие за ними дни.

Москва — в сугробах снега, освященная лишь отсветом звездного неба.

Поздний вечер. Весь гигантский Госпиталь снаружи — необъятный черный ящик, плотно замурованный, погашенный от злобных взглядов вражеских налетчиков.

Не то — внутри. Идете Вы по полукилометровым и полутемным корридорам, а направо и налево двери, приоткрытые в палаты, тоже полу-темные.

Но в каждой из палат сияет феерично многоцветными огнями лампочек раскидистая елочка, внося неизъяснимую поэзию и отсвет мира в эту обстановку лазаретных коек, в синие халаты раненных, в это унылое в другое время царство марли, гипса, ваты и ланцета.

Но не то сейчас. Приветливо сверкают красными, зелеными и синими огнями елочки, приветливо глядят на них больные. Мыслями и сердцем они верно далеко отсюда, там, у своих близких отделенные от них, быть может, тысячами километров.

Подносить в подобной обстановке, при такой настроенности обитателей палат «академические лекции» способны только безнадежные педанты.

И поэтому так совершенно иначе слагаются мои беседы в эти дни, при свете елочных огней и в обрамлении зеленой хвои

«В эти дни» — так говорю я, приходя в палату — «Вам, конечно, больше, чем когда либо недостает Ваши родных и близких.. Заменить их вам никто не может. Но вообразите, что пришел к вам добрый ваш приятель, добрый друг, который пожелал бы рассказать о своих странствованиях по чужим краям, о людях и природе разных стран...»

Вот в этом духе собираюсь я вам рассказать сегодня: о моих поездках в Азию и за границу, об ученых и о неученых, о зверях и людях, о науке и искусстве, об истории природы и о человеческой истории, о воспитании, о биографиях и творчестве больших людей короче: обо всем. Но понемногу.. нечто вроде «святочных рассказов как их называли раньше»...

Именно в таком разрезе проводились мною иногда беседы под заглавием: «Скачки в Природе и в истории человеческого Общества», отчасти в стиле фельетонов, внешне мозаичных, внутренне объединенных целостной идеей, оттеняющей явления и факты, занимательные и как таковые.

Я рассказываю о «праздной» Ницце, о презренном Монте-Карло о «двуликом» Лондоне («ту нэшен» Ленина), об Амстердаме и Венеции, о жизни моря Севера и Юга... А затем бессвязные по виду, а на деле обобщенные идейно следуют явления, имена и факты, самые разнообразные: «скачки» в мире животных и растениях, в мире человеческих болезней и талантов, биографии великих гениев в науке и в искусствах, гениев пера и звука, кисти и научной мысли.

Я заканчиваю выражением уверенности в том, что, посягнув на стены, видевшие творчество великого народа, враг бессилён задержать и обесценить его светлое грядущее!

Приветно-торжествующе сияют елки и рубины их лучей успешно борются с рубиновыми пятнами бинтов и марли, а ароматы хвои — с запахом от йодоформа...Неподвижно, словно зачарованы фигуры раненых в своих халатах, там — на койках, здесь — сгрудясь у елки, вдумчиво следя за незатейливым рассказом старого профессора.

Не хочется кончать и уходить не хочется.. И все таки — пора!

— «Вот и конец моим рассказам, моей повести! До-завтра! С Новым Годом! С новой верой в нашу Родину, в ее победу над врагом! С новой верой Вас в самих в себя, в Вашу победу над недругом!»

— «Приходите к нам опять! Редко у нас бываете!» так благодушно жалуются часто при моем уходе обитатели палаты.

— «Но ведь не одни Вы у меня!» им говоришь в ответ. «Вас — много... и пока обслужишь весь конвейер всех палат, не скоро очередь опять дойдет до Вашей. К сожалению, я — лишь профессор Зоологии, а не „Сороконожка“ и за всеми Вами — не поспеть!»

— «А все таки запомните Номер нашей Палаты.. 505-ая!»

Записываешь номер, зная наперед, что в следующей палате будут те же реплики и те же просьбы, та же запись, то же обещание без возможности и силы своевременно его исполнить...

Но пора — домой. Снимаешь свой халат, спускаешься в роскошный вестибюль (— там — группа раненых и медсестер все еще заняты осмотром нашей Выставки..), минуешь стража госпитального порога, рослого красноармейца при ружье, и выйдя из портала, временно замаскированного бревнами и досками, внезапно окунаешься во мглу январьской ночи.

Смежные сугробы еще резче оттеняют мрак столицы, незадолго перед тем так грозно-героически отброшенной врага.

Могучий черный силуэт гиганта-госпиталя чуть виднеется на фоне неба и не верится, что там, внутри, оставил за собой тысячи цветных огней и сотни дружеских сердец...

Невольно чудится, как будто, рассекая и пронизывая стены здания-гиганта, тянутся вослед и провожают по пути домой эти цветистые лучи от новогодних елок а, быть может, вместе с ними — отсветы лучистых благодарных взоров....

Но бывают сцены, еще более волнующие: когда кончен срок, положенный для излечения больного, и последний, полностью оправившись, готов вернуться к боевому фронту.

И так странно мне всегда бывало видеть столь знакомые фигуры раненых бойцов, долгие месяцы встречавшиеся мне лежащими на койках или медленно бродящими на костылях, в халатах и повязках, — так необычайно было видеть этих же товарищей подтянутыми, бодро-деловитыми, в походной форме с кобурой у пояса, с глазами, словно уже устремленными туда, где кровью Родины обороняется достоинство культуры мира...

И, прощаясь родственно — интимно с этими былыми слушателями, мне всегда казалось, что теперь только, лишь расставаясь с ними, я способен осознать, как несравним наш скромный госпитальный труд с трудами боевого фронта, и как безответственен мой лекционный энтузиазм по сравнению с тем, который требуется там, — на линии боев, фронту огня и стали.

Таковы отдельные картинки, блики и штрихи нашей работы, чувства, мысли и мечты, родившиеся в ходе нашей госпитальной практики.

И, оставляя до другого места подведение некоторых ее итогов, мы, предвосхищая их, сейчас лишь ограничимся одним важнейшим выводом.

Как и во всякой массовой культ-просветительной работе, подлинную ценность госпитальных лекций следует искать гораздо больше в направлении **эмоций**, чем по линии рассудочного знания.

В этой бесспорной истине нас убеждает, ярким и красноречивым образом, одно явление, которое я вынужден отметить с чувством гордости и умиления; тот любопытный факт, что главного соперника и кон-

курента в госпитальной моей деятельности я встретил неожиданно в лице моего главного помощника — подростка-сына.

Пристрастившийся к **кино** еще ребенком, — десять лет тому назад — мой мальчик с первых месяцев войны, оставив школу, поступил на Курсы Кино-техников, желая посвятить себя обслуживанию раненых в госпиталях.

Не дожидаясь окончания кино-курсов, ежедневно помогая мне в работе по палатам или в аудиториях, заведывая проэекционным фонарем, мой мальчик начал и самостоятельно обслуживать бойцов кино-сеансами, работая в палатах или клубах, а по овладении и сложными стабильными аппаратами и в аудиториях для массовых собраний раненых и госпитального медперсонала.

И — увы! для старого профессора и к радости для старого отца — успехи сына оттеснили на второе место этого последнего!

Достаточно сказать, что в ходе практики сложился постепенно такой узус, что отец и сын, после прихода в Госпиталь, все чаще стали «размежовываться» и при том с «равнением по младшему из двух».

Достаточно бывает мальчику лишь показаться со своими кинолентами и аппаратами, чтобы **все** обитатели палат, способные к ходьбе, перебирались в ту, где намечалось проведение кино-сеанса, оставляя старого профессора лишь с поредевшей аудиторией.

— «К нам! к нам!» — обычно просят обитатели палат, завидев проходящего мимо открытых в коридоры дверцы, молодого кино-энтузиаста... И при виде этого успеха сына, старому профессору-отцу приходится лишь уносить свою работу на другие этажи, куда еще не донеслось известие о молодом его «сопернике».

Соперничать с **Кино**, — этим в известном смысле «высшим из искусств» — бессилен даже самый опытный и знающий ученый-лектор.

Более доступные, чем лекции для тяжело-больных, **пятьсот** киносеансов, проведенных моим сыном по одним только палатам в четырех различных госпиталях, имели колоссальный спрос среди бойцов.

И с умилением, вспоминается характерная реплика, однажды брошенная трудно-раненым бойцом моему сыну при его уходе после окончания кино-сеанса:

— «Вот, пока смотрел картину — нога не болела.. а теперь опять болит!»

Но то же самое могли бы про себя сказать и тысячи больных и раненых бойцов и командиров, так любовно и энтузиастически обслуженных моим старательным и верным молодым помощником ... и милым конкурентом!

И, конечно, есть только одно, что в состоянии сравнить доходчивость устного слова лектора и дикторское слово киноленты, даже «перекрыть» это последнее: мы разумеем — привнесение предельно теплого, участливого **индивидуального** подхода к каждому больному или раненому, чего нет и быть не может в самом идеальном Кино-аппарате!

В этом искреннем, душевном отношении к госпитальной аудитории и более пластичном, быстром реагировании на запросы дня и требования момента — должно видеть главное, **ничем** не заменимое достоинство живого слова.

Но и здесь сердечность мысли старого ученого нашла достойную соперницу, вернее, была вынуждена уступить этой последней!

Давний, преданный, самоотверженный сотрудник-сосоздатель **Дарвиновского Музея**, — верная спутница жизни пишущего эти строки, — **Н.Н. Ладыгина-Котс**, удачно завершила скромную «триаду», посвятившую себя служению раненых в дни величайших испытаний Родины.

Ученый мирового ранга, автор капитальнейших трудов, занявших третье место в мировой науке, и повторно приглашавшаяся персонально на международные научные конгрессы (Америка 1929, Париж — 1937) — этот верный друг на моем жизненном пути, привнес в свою работу в госпитальных стенах **три** посильных дарования: мысль ученого-новатора, женскую чуткость и душевность поэтического творчества.

Мысль ученого... Достаточно сказать, что половина всех прочитанных в палатах лекций опиралась целиком об упомянутые капитальные труды, своей тематикой («душевыми мир животного и человека») ставшие особенно доступными для излагания перед госпитальной аудиторией.

Равно доходчивые содержанием и оформлением (оригинальные фототаблицы и картины, поясняющие разницу и сходство в поведении ребенка и детенышей животных) — эти лекции служили актуальнейшим оружием разоблачения фашистских измышлений о неравноценности народностей и наций...

Чуткость женщины-ученого и лектора особенно сказались при обслуживании женской госпитальной аудитории, будь то больных и раненых женщин-врачей и мед-сестер и санитарок, или подлинных участниц боя, — героинь-бойцов на линии огня.

Легко понять, что здесь, обслуживая **женские** палаты, подходя к их обитательницам с материнской лаской и участием сестры, жена бывала в состоянии дать то, чего не в силах были обеспечивать никакая опытность и задушевность старого профессора.

Но было еще третье свойство, третий дар, внесенный моей верной спутницей в науку и на жизненном пути в свое посильное служение вольным и раненым, — дар, оказавшийся незаменимым и способным перекрыть все преимущества науки и кино: — дар скромного, но искреннего поэтического творчества.

Именно к этой своей Музе, скромной, но отзывчивой, нередко приходилось апеллировать моей жене в дни Календарных Праздников, — «День Красной Армии» или «8-ого Марта», как особенно при проведении местных «госпитальных» празднеств, при, раздаче знаков боевых отличия раненым героям или героиням.

Помещая ниже пару образцов подобных стихотворных обращений, мы закончим настоящий очерк пожеланием, чтобы стихи эти при всей непритязательности, досказали о мотивах, побудивших скромную «Триаду» матери, отца и сына посвятить себя служению боевого тыла в дни великих испытаний **Родины**, в предвидении ее великих героических побед.

В этот радостный час,
Когда слышим приказ
Награждения за подвиги Вас,
Я поздравить хочу,
Мыслью, сердцем ишу
Слов прекрасных, глубоких сейчас.

Я скажу, что народ
Подвиг Ваш он зачтет,
Пронесет Вашу славу в века,
И за Вами пойдет
Ваш товарищ вперед,
Сокрушит до конца он врага.

Нашу Родину-Мать
Никому не отнять,
Коль подобны Вам будут бойцы:
Будут так воевать,
Будут так побеждать,
Как сражались Вы — храбрецы!

Орден, Вам что вручен,
Пусть покажет всем он,
Как исполнен был долг боевой,
Как за Родину сын
В пору тяжких годин,
Воевал, как достойный герой!

24 Февраля 1943 г.

Н.Н. Ладыгина-Котс

—*Посвящается* Трем Бойцам-Орденосцам: Тов. **Зимину** Н.М. , тов. **Силакову** И.П.,
тов. **Тишину** С. И. (— Госпиталь № 4623. —)

В Международный Женский День
В суровый год Войны Великой,
Когда фашистов злая тень
Назад уходит в злобе дикой —

Мы горды, счастливы сказать,
Что в нашем доблестном отпоре
Чудесных женщин смелых рать
Стоит с отвагою во взоре.

Их всех сейчас не перечесть,
Упомяну, кого лишь знаю,
Но рассказать о них за честь,
За долг свой ныне я считаю.

Вот предо мной лежит одна
Пока прикована к постели,
Она совсем еще юна,
Но героиня в ратном деле.

Она участница двух войн —
Кампаний финской и германской,
Как медсестра она и воин
В отряд вступила партизанский.

Отряд задание получил:
Занять соседнее селение,
Искусно дело он свершил:
Умело выиграл сражение,

Но схватка жаркая была,
Сестра упала без сознания,
Едва в себя она пришла
Спросила: «Сделано-ль задание»?

На финском фронте ей пришлось
Под залпы рвущихся снарядов
Носить и ночью, и в мороз,
Бойцов израненных в отряде.

Десятки их одна она
С арены боя выносила,
И поражалась сама,
Какая в ней таилась сила...

На новый фронт она идет —
Сигнал раздался для атаки..
Отряд с сестрой пошел вперед,
Залег в ложине и овраге..

На правой стороне бугор,

Стоит разбитый танк гигантский,
Там верно спрятался дозор,
Фашистский снайпер — «асс» германский.

А слева, там за бугорком
Упал ничком боец сраженный
Сестра спешит к нему ползком
И видит: пулей он пронзенный.

Но дальше, дальше на снегу
Еще боец лежит и стонет,
Хоть он и близко ко врагу
Но то ее не остановит.

Она ползет, ползет вперед,
Вдруг слышит выстрел автомата
Навылет пуля ее бьет,
И ей самой уж помощь надо.

Я рану видела ее,
И слезы горькие застала,
И сердце дрогнуло мое
При виде, как она страдала..

И в тот безмерно скорбный миг
Хотелось перед ней склониться.
Поцеловать ей бледный лик
И низко, низко поклониться.

Сказать: «Спасибо, о сестра!
Ты долг свой выполнить сумела,
Ты в жертву жизнь свою несла,
Свершила ты святое дело..»

На красной ленточке медаль
Твои «Заслуги Боевые»
Овеет славой, а печаль
Друзья разгонят удалые.

Один из них тебе писал:
«О, Нина, поздно или рано,
Но мстить я крепко обещал
За дорогие твои раны!

Лишь за тебя, тебя одну,
Я сотню немцев уничтожу,
Свою расплату им верну,
Урон их во сто крат умножу.

За кровь твою, за нашу честь,
За близких сердцу, за Отчизну
Моя жестока будет месть,
И над врагом я справлю тризну!

О, Нина, близок этот час,
И жизнь нам снова улыбнется,
И радость к нам в страну вернется
И не отнять ее у нас!»

8 Марта 1943 года.

Н.Н. Ладыгина-Котс

—*Посвящается* Тов. **Орловой**, Нине Михайловне. (— Госпиталь № 4623 —)